

ЛОКАРМЕН

РАСКРЫТЬ

Лазарь Кармен

Пронька

В Одессе нет улицы Лазаря Кармена, популярного когда-то писателя, любимца одесских улиц, любимца местных «портосов»: портовых рабочих, бродяг, забияк. «Кармена прекрасно знала одесская улица», – пишет в воспоминаниях об «Одесских новостях» В. Львов-Рогачевский, – «некоторые номера газет с его фельетонами об одесских каменоломнях, о жизни портовых рабочих, о бывших людях, опустившихся на дно, читались нарасхват... Его все знали в Одессе, знали и любили». И... забыли?..

Он остался героем чужих мемуаров (своих написать не успел), остался частью своего времени, ставшего историческим прошлым, и там, в прошлом времени, остались его рассказы и их персонажи. Творчество Кармена персонажами переполнено. Он преисполнен такой любви к человекам, грубым и смешным, измороженным и мечтательно изнеженным, что старается перезнакомить читателей со всем остальным человечеством.

**Лазарь Кармен
Пронька**

Клоун Икс, старый знакомый мой, покидал завтра наш город, и мы коротали последний вечер.

Номер, занимаемый им в лучшем отеле, был теплый, уютный, как каюта изнеженного лейтенанта на военном судне. На столе позванивал чистенький никелированный самовар, поблескивая сквозь решетку внизу рубинами угольков.

Нас было трое – я, он и жена его.

Мы много беседовали. Больше говорил он, и я охотно давал ему говорить, так как слушать этого человека, исколесившего Россию вдоль и поперек чуть не сто раз, забиравшегося к осякам и самоедам, много пережившего и перестрадавшего, было истое наслаждение.

– Тсс! – произнес он вдруг и прислушался.

Мы замолчали.

Теперь, когда в комнате сделалось тихо, мы услышали дикое завывание и шипение за окном.

– Неужели пурга? – спросил он и подошел к окну. – Так и есть!..

Я также подошел и взглянул через слегка заиндевелое стекло на улицу. Ветер кружил снег с невероятной силой, рвал вывески...

Клоун покачал головой и задумчиво проговорил:

– Помню, в такую погоду, тоже вечером, лет двадцать назад, я ехал степью на санях в Казань... Любопытная история была...

– Расскажите, пожалуйста.

– Можно... Помнишь, Анята? – обратился он к жене, разливавшей чай.

– Еще бы!

Клоун развалился в качалке и стал рассказывать своим своеобразным языком, сильно морща лоб, припоминая давно забытое и тихо покачиваясь.

– История эта вот такая. Ехал я, как давеча докладывал вашему превосходительству, пардон, высокопревосходительству, в Казань на санях всей своей колонией. Впереди на мужицких санях – клетки со свиньями, козлом, крысами и прочими тому подобными артистами.

Впереди, значит, они, а позади мы с Анятой.

Перед тем как двинуться, я дал ямщикам пятерку на чай, чтобы гнали шибче. Нам, видите ли, надо было поспеть к сроку. Я был приглашен к Никитину. Слышали? Цирк есть такой! Ну-с!.. Дзинь, дзинь, дзинь. Едем.

Проехали этак верст десять и умаялись. Захотелось согреться, отдохнуть и подзакусить.

Как раз случись деревенька – маленькая такая, забытая. Из снега, как крест почернелый, торчит обгорелая полешка.

Мы – туда и прямо в первую избу.

Ну, и хоромы же, доложу вам.

Потолок валится, печь валится, стена валится – все вкривь, вкось! Духота, вонь!

Трешницу за яиц и цыпленка предлагаю.

«Уж не прогневайся, сокол, – говорит хозяин, больной и обшарпанный мужичонка, похожий больше на индуса из Бомбея или Калькутты... – Он слез с печи. – Не то что цыплят у нас в заводе нет, но и собак. Да и какая тварь тут держаться будет, коли ни кола у нас, ни двора. Кору и лебеду трескаем».

Я подивился этой нищете и думаю: «Неужели это наяву, а не во сне?»

Протер глаза. Нет, наяву! Так вот она, наша

деревня!

Обратил я потом свое просвещенное внимание на бабу.

Сидит она в углу, сердечная, как воск желтая, накрывшись порванной косынкой, вся скрючившись, точно сама нужда оседлала ее, толкает зыбку, подвешенную к потолку, и тихо-тихо напевает, как у Островского, в «Сне воеводы»: «Спи, усни, хрестьянский сын!..»

Голос у нее глухой, с надрывом.

Поет – и нуль внимания на нас, как будто никого в комнате. А за стеной гудит, рвет и мечет, и изба ходит. «Ходит изба, ходит печь!..»

Подхожу к бабе и спрашиваю:

«Твой ребенок?»

Поднимает лицо, вскидывает мутные глаза и кивает головой.

«Мальчик?»

«Мальчик», – отвечает чуть слышно.

Тяжело ей, видно, говорить.

«А как звать?»

«Пронькой».

Я запахнул шубу и нагнулся к зыбке. И предо мной, как в вогнутой раме, на куче тря-

пья предстал уродец с большим острым животом на тоненьких, как спички, ножках, с зеленым квадратным лицом и темными, широко открытыми, немигающими глазами. Не глаза, а два придорожных оврага.

Уродец сосал что-то черное.

Я потянулся к этому черному и вижу – тряпка, простой обрывок не то войлока, не то нижней юбки.

Недурное питание! Как вы находите?!

Я снова глянул на лежащего предо мной «хрестьянского сына», на этого Проньку, и подумал, что оставить его здесь так, в этом холоде, среди этого ужаса и нищеты, нельзя. Было бы страшным преступлением.

В город его, в город!

Окружить попечением, уходом и поставить его на ноги!

Желание вырвать хотя бы одного из сотен тысяч таких, как он, Пронек, гибнущих в глухой степи под свист и похоронный напев вьюги, дать ему соки, жизнь захватило меня всего, и я обратился почти с мольбой к бабе:

«Слушай, как тебя!..»

«Агафья».

«Вот что, Агафьюшка! Отдай-ка мне твоего Проньку. Человек я не злой и худа тебе не желаю. Я увезу его в город, в Казань, и, как за родным, смотреть буду, поить, кормить! Захочешь потом повидать его, напиши. Вышлю на дорогу туда и назад деньги. Живи у меня, сколько хочешь. Если здесь оставить его, помрет ведь. Ты как?!»

«Я как?! Да я в ноги тебе поклонюсь! – просияла баба. И откуда в ней голос взялся? – Хоша ты и барин, а душа у тебя, вижу, простая. Верно говоришь, помрет здесь. Возьми его. Богу молить за тебя будем».

«Я тебе еще десять рублей оставлю».

Несчастливая в ноги. То же и муж.

Оставил я, значит, им денег, адрес – и гайда!..

Опять мы на санях...

Дзинь, дзинь, дзинь! Шире дорогу! Проньку везем!

Завернули мы его хорошенько в два одеяла и в рот бублик маковый сунули.

«Ну, как себя, сын хрестьянский, чувствуешь?» – спрашиваю его.

А он в ответ – чмок-чмок, у-у, му-у! Знай

только бублик посасывает.

– Смешно было! – вставила, выглянув из-за самовара, Анна Игнатьевна и улыбнулась.

– «Эх, – говорю я, – Анюта! Дал бы бог довести его живым до Казани. А там живо на ноги поставим».

Дзинь, дзинь, дзинь!..

Лесок...

Еще один лесок...

Овраг...

Другой, третий.

А вот и Казань!

Тпруу! Приехали...

Залезаем в номер. Днем это было.

Перво-наперво кладу я своего Проньку на кушетку и номерного в шею.

«Доктора мне. Да что одного! Валяй двоих, троих!»

Явились.

Показываю им Проньку и говорю:

«Нельзя ли этого индивидуума поставить на ноги?»

Посмотрели они на него внимательно, ощупали со всех сторон и спрашивают:

«Простите. Это сын ваш?»

«Нет!» – И рассказываю им всю историю.

Один, лысый такой, в золотых очках, профессор, надавил ему большим пальцем живот и говорит:

«Ну, чем не барабан! Это он у него, должно быть, от коры вздулся».

«Да-с, – говорит другой. – Расеюшка...»

А третий:

«Продемонстрировать бы его в Германии... То-то бы удивились...»

«Так как же, – спрашиваю, – можно как-нибудь его того? Очень хотелось бы, чтобы он жил».

Пожимают плечами.

«А вы попробуйте, – сказал один, – молока давать ему и бульону...»

Я послушался.

В цирк не хожу, контракт нарушил. Все с Пронькой своим вожусь.

Пичкаю его молоком, бульонами, окружаю игрушками.

Запятайка моя – у меня дворняжка была ученая, математик, умножения и вычисления почище гимназиста делала, – ревновать даже стала к нему. Лает на него, рычит...

Пронька ел, пил, впрочем, всего понемножку, вяло. Да и пользы на грош.

Он оставался все тем же зеленым, скучным и смотрел на меня равнодушно своими большими, темными, немигающими глазами.

Раз только удалось мне вызвать на лице его улыбку, когда петухом над ним заорал и хлопнул руками.

Родное услышал.

Три дня возился я с ним.

На четвертый он повернулся ко мне боком, как бы махнул на меня, затейника-барина, рукой: «Не с того, дескать, конца начал», и уснул с оловянным петушком в руке на веки вечные...

– Ну и ревел же я над ним! Как дура какая! – закончил он...

Самовар допевал на столе свою песенку.

За окном металась вьюга...

Клоун Икс, старый знакомый мой, покидал завтра наш город, и мы коротали последний вечер.

Номер, занимаемый им в лучшем отеле, был теплый, уютный, как каюта изнеженного лейтенанта на военном судне. На столе позва-

нивал чистенький никелированный самовар, поблескивая сквозь решетку внизу рубинами угольков.

Нас было трое – я, он и жена его.

Мы много беседовали. Больше говорил он, и я охотно давал ему говорить, так как слушать этого человека, исколесившего Россию вдоль и поперек чуть не сто раз, забирававшегося к остякам и самоедам, много пережившего и перестрадавшего, было истое наслаждение.

– Тсс! – произнес он вдруг и прислушался.

Мы замолчали.

Теперь, когда в комнате сделалось тихо, мы слышали дикое завывание и шипение за окном.

– Неужели пурга? – спросил он и подошел к окну. – Так и есть!..

Я также подошел и взглянул через слегка заиндевелое стекло на улицу. Ветер кружил снег с невероятной силой, рвал вывески...

Клоун покачал головой и задумчиво проговорил:

– Помню, в такую погоду, тоже вечером, лет двадцать назад, я ехал степью на санях в Казань... Любопытная история была...

– Расскажите, пожалуйста.

– Можно... Помнишь, Анюта? – обратился он к жене, разливавшей чай.

– Еще бы!

Клоун развалился в качалке и стал рассказывать своим своеобразным языком, сильно морща лоб, припоминая давно забытое и тихо покачиваясь.

– История эта вот такая. Ехал я, как давеча докладывал вашему превосходительству, пардон, высокопревосходительству, в Казань на санях всей своей колонией. Впереди на мужицких санях – клетки со свиньями, козлом, крысами и прочими тому подобными артистами.

Впереди, значит, они, а позади мы с Анютой.

Перед тем как двинуться, я дал ямщикам пятерку на чай, чтобы гнали шибче. Нам, видите ли, надо было поспеть к сроку. Я был приглашен к Никитину. Слышали? Цирк есть такой! Ну-с!.. Дзинь, дзинь, дзинь. Едем.

Проехали этак верст десять и умаялись. Захотелось согреться, отдохнуть и подзакусить.

Как раз случись деревенька – маленькая

такая, забытая. Из снега, как крест почернелый, торчит обгорелая полешка.

Мы – туда и прямо в первую избу.

Ну, и хоромы же, доложу вам.

Потолок валится, печь валится, стена валится – все вкривь, вкось! Духота, вонь!

Трешницу за яиц и цыпленка предлагаю.

«Уж не прогневайся, сокол, – говорит хозяин, больной и обшарпанный мужичонка, похожий больше на индуса из Бомбея или Калькутты... – Он слез с печи. – Не то что цыплят у нас в заводе нет, но и собак. Да и какая тварь тут держаться будет, коли ни кола у нас, ни двора. Кору и лебеду трескаем».

Я подивился этой нищете и думаю: «Неужели это наяву, а не во сне?»

Протер глаза. Нет, наяву! Так вот она, наша деревня!

Обратил я потом свое просвещенное внимание на бабу.

Сидит она в углу, сердечная, как воск желтая, накрывшись порванной косынкой, вся скрючившись, точно сама нужда оседлала ее, толкает зыбку, подвешенную к потолку, и тихо-тихо напевает, как у Островского, в «Сне

воеводы»: «Спи, усни, хрестьянский сын!..»

Голос у нее глухой, с надрывом.

Поет – и нуль внимания на нас, как будто никого в комнате. А за стеной гудит, рвет и мечет, и изба ходит. «Ходит изба, ходит печь!..»

Подхожу к бабе и спрашиваю:

«Твой ребенок?»

Поднимает лицо, вскидывает мутные глаза и кивает головой.

«Мальчик?»

«Мальчик», – отвечает чуть слышно.

Тяжело ей, видно, говорить.

«А как звать?»

«Пронькой».

Я запахнул шубу и нагнулся к зыбке. И предо мной, как в вогнутой раме, на куче тряпья предстал уродец с большим острым животом на тоненьких, как спички, ножках, с зеленым квадратным лицом и темными, широко открытыми, немигающими глазами. Не глаза, а два придорожных оврага.

Уродец сосал что-то черное.

Я потянулся к этому черному и вижу – тряпка, простой обрывок не то войлока, не то

нижней юбки.

Недурное питание! Как вы находите?!

Я снова глянул на лежащего предо мной «хрестьянского сына», на этого Проньку, и подумал, что оставить его здесь так, в этом холо-диле, среди этого ужаса и нищеты, нельзя. Было бы страшным преступлением.

В город его, в город!

Окружить попечением, уходом и поста-вить его на ноги!

Желание вырвать хотя бы одного из сотен тысяч таких, как он, Пронек, гибнущих в глухой степи под свист и похоронный напев вьюги, дать ему соки, жизнь захватило меня всего, и я обратился почти с мольбой к бабе:

«Слушай, как тебя!..»

«Агафья».

«Вот что, Агафьюшка! Отдай-ка мне твоего Проньку. Человек я не злой и худа тебе не жа-лаю. Я увезу его в город, в Казань, и, как за родным, смотреть буду, поить, кормить! Захо-чешь потом повидать его, напиши. Вышлю на дорогу туда и назад деньги. Живи у меня, сколько хочешь. Если здесь оставить его, по-мрет ведь. Ты как?!»

«Я как?! Да я в ноги тебе поклонюсь! – просияла баба. И откуда в ней голос взялся? – Хоша ты и барин, а душа у тебя, вижу, простая. Верно говоришь, помрет здесь. Возьми его. Богу молить за тебя будем».

«Я тебе еще десять рублей оставлю».

Несчастливая в ноги. То же и муж.

Оставил я, значит, им денег, адрес – и гайда!..

Опять мы на санях...

Дзинь, дзинь, дзинь! Шире дорогу! Проньку везем!

Завернули мы его хорошенько в два одеяла и в рот бублик маковый сунули.

«Ну, как себя, сын хрестьянский, чувствуешь?» – спрашиваю его.

А он в ответ – чмок-чмок, у-у, му-у! Знай только бублик посасывает.

– Смешно было! – вставила, выглянув из-за самовара, Анна Игнатьевна и улыбнулась.

– «Эх, – говорю я, – Анюта! Дал бы бог довести его живым до Казани. А там живо на ноги поставим».

Дзинь, дзинь, дзинь!..

Лесок...

Еще один лесок...

Овраг...

Другой, третий.

А вот и Казань!

Тпруу! Приехали...

Залезаем в номер. Днем это было.

Перво-наперво кладу я своего Проньку на кушетку и номерного в шею.

«Доктора мне. Да что одного! Валяй двоих, троих!»

Явились.

Показываю им Проньку и говорю:

«Нельзя ли этого индивидуума поставить на ноги?»

Посмотрели они на него внимательно, ощупали со всех сторон и спрашивают:

«Простите. Это сын ваш?»

«Нет!» – И рассказываю им всю историю.

Один, лысый такой, в золотых очках, профессор, надавил ему большим пальцем живот и говорит:

«Ну, чем не барабан! Это он у него, должно быть, от коры вздулся».

«Да-с, – говорит другой. – Расеюшка...»

А третий:

«Продемонстрировать бы его в Германии... То-то бы удивились...»

«Так как же, – спрашиваю, – можно как-нибудь его того? Очень хотелось бы, чтобы он жил».

Пожимают плечами.

«А вы попробуйте, – сказал один, – молока давать ему и бульону...»

Я послушался.

В цирк не хожу, контракт нарушил. Все с Пронькой своим вожусь.

Пичкаю его молоком, бульонами, окружаю игрушками.

Запятайка моя – у меня дворняжка была ученая, математик, умножения и вычисления почище гимназиста делала, – ревновать даже стала к нему. Лает на него, рычит...

Пронька ел, пил, впрочем, всего понемножку, вяло. Да и пользы на грош.

Он оставался все тем же зеленым, скучным и смотрел на меня равнодушно своими большими, темными, немигающими глазами.

Раз только удалось мне вызвать на лице его улыбку, когда петухом над ним заорал и захлопал руками.

Родное услышал.

Три дня возился я с ним.

На четвертый он повернулся ко мне боком, как бы махнул на меня, затейника-барина, рукой: «Не с того, дескать, конца начал», и уснул с оловянным петушком в руке на веки вечные...

– Ну и ревел же я над ним! Как дура какая! – закончил он...

Самовар допевал на столе свою песенку.

За окном металась вьюга...

Клоун Икс, старый знакомый мой, покидал завтра наш город, и мы коротали последний вечер.

Номер, занимаемый им в лучшем отеле, был теплый, уютный, как каюта изнеженного лейтенанта на военном судне. На столе позванивал чистенький никелированный самовар, поблескивая сквозь решетку внизу рубинами угольков.